

Юлия Арниева



ОКНА НА ЛУАРУ

Юлия Арниева
Окна на Луару

«Автор»

2026

Арниева Ю.

Окна на Луару / Ю. Арниева — «Автор», 2026

Наследство мне досталось так себе. Для Парижа я — особа, посмевавшая сбежать от щедрого покровителя. Для угрюмого мальчишки с клеймом «сын изменника» — мачеха, которую положено ненавидеть. А для себя — хозяйка, у которой впервые появился собственный дом с окнами на Луару. Осталось совсем немного: привести его в порядок, растопить все три печи, накормить половину Орлеана так, чтобы за моим столом развязывались языки, не попасться графу и узнать, за что на самом деле казнили человека, чьему сыну больше некому помочь. И уж точно я не ищу любви. Просто один невыносимый чиновник слишком часто приходит к ужину. И, кажется, вовсе не ради моего паштета. Уютный дом у реки. Франция XVIII века. Домашняя кухня, старинные рецепты, немного тайн, немного романтики — история о том, как одна растопленная печь способна изменить человеческие судьбы. От автора: ЧЕРНОВИК. ПОДПИСКА График прод: ПН, СР, ПТ.

© Арниева Ю., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	11
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Юлия Арниева

Окна на Луару

Глава 1

Дорогие читатели!

Добро пожаловать в Орлеан XVIII века.

Это не та история, где герои каждую главу спасают мир. Здесь жизнь течет так же неспешно, как воды Луары. Вместе с Фанеттой мы будем обживать старый дом, учиться разжигать печи, печь хлеб, готовить блюда по старинным рецептам, принимать гостей и понемногу превращать заброшенный дом в место, куда хочется возвращаться.

Конечно, без тайн не обойдется. За уютными ужинами будут развязываться языки, старые секреты постепенно выйдут на свет, а прошлое еще не раз напомнит о себе. Но прежде всего эта книга о доме, людях и новой жизни.

Если вам по душе неспешные истории с ароматом свежего хлеба, атмосферой старой Франции, теплыми вечерами у камина и героями, которые становятся семьей не по крови, а по выбору, — буду рада пригласить вас за стол мадам Фанетты.

Надеюсь, вам будет уютно.

С уважением, Юлия

— Не это. И это тоже оставь.

Луиза прижала к груди платье из палевого лионского шелка, шитое серебром по лифу, и посмотрела на меня с таким ужасом, будто я велела бросить его в камин.

— Но, мадам... Это ведь самое лучшее! Вы же надевали его на Рождество у...

— Именно поэтому и убери его, — непреклонным тоном ответила я, замерев посреди спальни над шестью раскрытыми сундуками.

Их собирали три дня: перекладывали каждый слой лавандовыми мешочками и бумагой, готовя к переезду в особняк на улице Тампль — туда, где даму ждали экипаж и содержание в двенадцать тысяч ливров в год. Шесть сундуков пышного приданого для новой жизни, которую я не заказывала. Из этих шести остаться должен был только один.

— Шерстяные вещи — сюда, — я откинула крышку самого простого дорожного сундука, обитого свиной кожей. — Все серое, коричневое, темно-синее. Белье — столько, сколько войдет. Чулки. Теплый плащ. И башмаки, Луиза. Никаких бальных туфель.

— А атласные робы, мадам? — запричитала служанка. — А кружево? Одно только алансонское стоит...

— Я прекрасно знаю, сколько оно стоит.

В том-то и заключалась моя задача. Я ходила вдоль сундуков, на глаз и на вес оценивая то, что в этом веке заменяло женщине банковский счет. Кружево — легкое, драгоценное, не мнется — берем все и аккуратно сворачиваем в полотно. Два шелковых платья захватим не для того, чтобы носить, а на продажу: в провинции за лионский шелк дают почти столичную цену, при этом места он занимает немного. Из мехов берем песец, а лису оставляем: слишком уж она приметная и яркая, ее запомнит любой встречный. Словом, все, что громко кричит «смотрите, едет знатная дама» — остается здесь. Потому что дама никуда не ехала. Дама пока оставалась в Париже — по крайней мере, еще на три дня, пока о ней не хватится граф.

— Подай шкатулку.

Луиза принесла шкатулку из розового дерева с бронзовой накладкой и опустила ее на кровать. Я откинула крышку.

Казначейство поработало здесь еще до моего появления. Все, что числилось за домом Гранье, ушло вместе с самим домом: столовое серебро, золотые табакерки, пряжки и орденовая цепь покойного. Осталось лишь то, что было записано в брачном договоре за девицей Мерсье — личное приданое не подлежало конфискации, и чиновник, составлявший опись, равнодушно вычеркнул его: за лишнее рвение ему явно никто недоплачивал.

Нитка чуть желтоватого жемчуга. Серьги с гранатами — судя по тяжеловесной старой оправе, еще бабкины. Три скромных кольца. Золотой крестик на цепочке. И, наконец, часы на шатлене — тонкая эмаль с незабудками; такие можно заложить в любом городке королевства, где найдется хотя бы один ювелир или приличная ссудная касса.

Наличными оставалось всего четыреста двадцать ливров: горсть золотых луидоров, ровный столбик серебряных экю и мешочек медяков. По меркам той роскошной жизни, для которой собирались шесть сундуков, — жалкая милостыня.

По меркам той жизни, которую задумала я, — вполне солидный оборотный капитал.

Я села к секретеру, выложила монеты и принялась их делить. Третью отправились в кошелек на поясе, под юбку — на текущие дорожные расходы. Еще треть предназначалась для зашивания в подол нижней юбки: по четыре монеты в каждый шов, чтобы ткань не оттягивало и золото не звенело при ходьбе. Остаток вместе с жемчугом я убрала в холщовый мешочек, который повесила на грудь, под самую шнуровку.

Эта дорожная арифметика получалась у меня сама собой, без ни малейших раздумий — словно я всю жизнь только и делала, что бежала из городов с зашитым в белье золотом. Луиза неотрывно следила за иглой в моих руках, и глаза у нее становились все круглее.

— Мадам... умеет шить?

— Мадам многое умеет, — ответила я. — Нитку перекуси.

Она послушно перекусила нитку, а затем всхлипнула и заплакала — в голос, по-детски, утираясь рукавом.

Она плакала с самого утра, с короткими перерывами на работу. Луиза прослужила у Фанетты Гранье два года, вместе с ней пережила обыск, опись имущества, вдовство и позор; она ходила за ней в те темные дни, о которых мне совсем не хотелось вспоминать — хоть и приходилось. В новую жизнь, на улицу Тампль, она тоже собиралась вместе с хозяйкой и давно мечтала об этом вслух: у графской челяди и стол всегда с мясом, и ливреи из хорошего сукна, а горничной самой мадам и вовсе полагалась отдельная каморка. Вместо этого хозяйка вот уже второй день говорила странные вещи, ходила по дому чужой походкой и прямо сейчас потрошила тщательно уложенные сундуки.

— Возьмите меня с собой, — попросила она в десятый раз. — Мадам, я все умею! Я и жалованья просить не стану, пока мы не устроимся, я...

— Нет, Луиза.

Луиза слишком хорошо знала прежнюю Фанетту Гранье: помнила, как та держит чашку, как морщится от сквозняка, как молится и что напевает под нос, когда думает, что осталась одна. Неделя в пути и девчонка начала бы подозрительно коситься. Месяц — и поползли бы шепотки. А против шепота собственной горничной окажутся бессильны и жемчуг, и любая подорожная.

— Я и сама не знаю, куда еду, — произнесла я вслух единственную часть правды. — И не знаю, на что буду жить. Тащить тебя в эту неизвестность я не стану, но без места не оставлю. Подай перо.

Я принялась писать рекомендацию на плотной бумаге, сохранившейся от лучших времен. Выводила буквы старательно, чужим почерком, который моя рука, к счастью, все еще помнила сама: «...в течение двух лет служила мне верно, прилежна, честна, нрава скромного...» Внизу поставила размашистый росчерк вдовы Гранье — он все еще имел вес в некоторых домах.

— Отнесешь это графине де Руси. Она уже третий месяц жалуется, что ее обкрадывает камеристка и что во всем Париже не найти честной служанки. Жалованье проси на десять ливров больше, чем платила я — она даст, ей будет приятно меня обойти. И вот еще.

Я отсчитала тридцать ливров и накрыла их сложенным листом рекомендации.

— Твое жалованье до Михайлова дня и немного на устройство. Палевое платье тоже забирай: перешьешь или продашь, за него дадут хорошую цену.

Луиза переводила взгляд с денег на письмо, затем на меня, и по ее лицу волнами проходили обида, страх, благодарность и снова обида будто круги по воде от брошенных один за другим камней.

— Мадам меня прогоняет... — тихо заключила она наконец и снова заплакала, отвернувшись к сундуку.

— Мадам спасает нас обеих, — еле слышно пробормотала я себе под нос, по-русски.

К вечеру дорожный сундук был собран и плотно стянут ремнями, а пять его собратьев выстроились вдоль стены — аккуратные, наполненные заново. Их я велела Луизе наутро отдать на хранение мебельщику с улицы Сен-Дени под расписку на имя мадам Гранье. Пусть граф, когда кинется искать, узнает: вещи на месте, дама выехала налегке, а значит, вот-вот вернется.

Оставалось последнее. Ради этого я позвала Луизу в спальню и заперла дверь.

— Открывай свой сундучок.

— Мадам?..

— Платье. Твое воскресное, синее, а с ним чепец и косынку. Давай мне. А ты заберешь мое коричневое — оно скромное, сойдешь за приличную горожанку, и в нем же отправишься завтра к графине. Для рекомендации полезно выглядеть достойно.

— Это же... Мадам, это невозможно, вы же... в моем...

— Быстрее, Луиза. Экипаж приедет к девяти.

Платье пахло лавандой и сухой мятой, которыми небогатые девушки перекладывают единственные ценные вещи. Оно село на меня почти идеально: Фанетта Гранье оказалась едва заметно стройнее своей горничной, так что под юбкой свободно поместились и подол с зашитым золотом, и холщовый мешочек на груди.

Я повязала косынку крест-накрест, как носят служанки, надвинула глубокий чепец и накинула сверху темный шерстяной плащ с капюшоном.

В зеркале, к которому я подошла лишь второй раз за все эти сумасшедшие дни, отражалась молодая женщина из простых: миловидная, не выпавшаяся, с припухшими от слез глазами. Простая прислуга, едущая на новое место. Никто. Лучшего пропуска в новую жизнь нельзя было и пожелать.

Фиакр, нанятый через сына привратницы, забрал меня у задней калитки. Единственный сундук кучер с криканьем закинул вверх, а я села в карету с корзинкой, в которой лежали хлеб, кусок сыра и две бутылки разбавленного вина: в дорогу здесь снаряжались словно в дальнее плавание.

На правом берегу, у церкви Сент-Эташ, я расплатилась и вышла из кареты. Отстояла мессу — совсем немного, ровно столько, чтобы фиакр успел уехать. Затем вышла через боковые двери прямо в рыночную толчею и мгновенно растворилась в ней вместе со своим сундуком, который за два су согласился нести местный крючник.

Парижские крытые рынки встретили нас оглушительным шумом. Торговки в высоких чепцах перекрикивали друг друга, зазывая покупателей на свежую макрель; в воздухе мешались запахи устриц, парного мяса, прелой капусты и жареных каштанов. Я не удержалась и на мгновение замедлила шаг, чтобы рассмотреть этот пестрый хаос — протянувшиеся вереницей рыбные, зеленные и птичьи ряды...

Но крючник с моим сундуком успел уйти вперед, ведя меня к противоположному краю площади, и я поспешила за ним. У выезда с рынка он свистнул второй фиакр. И я, назвав кучеру контору королевских дилижансов на улице Нотр-Дам-де-Виктуар, забралась в экипаж.

Ехать было недалеко. Вскоре фиакр остановился у нужных дверей; кучер за пару су помог занести мой тяжелый сундук внутрь конторы и поставил его у стены.

В самом помещении пахло сургучом, конюшной и мокрым сукном. Клерк за решеткой, не поднимая головы, равнодушно спросил имя:

— Фанетта Мерсье, — ответила я, и чужое имя прозвучало на удивление буднично, будто оно и правда было мое.

Клерк вписал меня в ведомость, принял двенадцать ливров за место внутри орлеанского дилижанса, у окошка — с отдельной доплатой за сундук, — и объявил, что отправление назначено на завтра, на шесть утра. А если угодно заночевать, то прямо через двор есть постоянный двор «Серебряный лев», где с проезжающих берут по-божески.

«По-божески» обошлось в двадцать су за койку в общей женской комнате, где, судя по чепцам на гвоздях, уже устроились три постоялицы. Еще десять су ушло на ужин, вкуса которого я даже не запомнила.

Я легла, не раздеваясь, прямо поверх одеяла, положив ладонь на грудь — туда, где под шнуровкой прятался мешочек с золотом, — и мгновенно уснула. А в пять утра меня уже растолкала служанка постоянного двора.

Наскоро ополоснув лицо холодной водой из кувшина, я сунула пару су коридорному мальчишке, чтобы он стащил мой тяжелый сундук вниз. Оправив чепец, спустилась во двор, где под навесом уже запрягали лошадей и собирались сонные пассажиры.

Дилижанс на Орлеан отошел в шесть с четвертью — на самом рассвете, под ругань кучера, хлопанье кнута и звон упряжи. Это была большая карета на восемь мест, обитая изнутри вытертым трипом. Пахло в ней нагретой кожей, чесноком и пылью, которой нам предстояло дышать всю дорогу. Попутчиков набралось как раз на все места: аббат с требником и подагрой, орлеанский суконщик с женой, тощий судейский клерк, кормилица с младенцем, отставной сержант и старуха в трауре. Последняя ехала хоронить зятя и уже к третьему лье рассказывала об этом — обстоятельно, с видимым удовольствием и по третьему кругу.

Меня в синем шерстяном платье и скромном чепце определили сразу и безошибочно: прислуга, едет к новому месту. Аббат слегка отодвинулся, уступая место, а суконщица принялась говорить со мной — покровительственно и охотно, что меня совершенно устраивало.

Париж выпустил нас через заставу Анфер уже под ярким утренним солнцем. После заставы потянулись предместья: огороды, ветряные мельницы на холмах, пока дорога окончательно не вывела нас на юг — широкую, вымощенную посередине и обсаженную вязами в два ряда. Это был прямой Королевский тракт на Орлеан.

Дилижанс делал от силы по два лье в час. Кучер клялся, что к завтрашним сумеркам будем на месте, если только не встанем где-нибудь по пути. Причины он перечислял с искренним наслаждением: сломанная ось, павшая пристяжная, размытая обочина или почтмейстеры — чтоб им пусто было, — приберегающие лучших лошадей для курьеров.

За Лонжюмо сменили упряжку, а за Арпажом остановились на обед.

Обед на почтовом дворе подавали за общим столом, всем разом, и ели здесь точно так же, как ехали — в тесноте и по строгому расписанию. Суп внесли в глубокой миске на всю компанию. Бульон был жидок, сер и покрыт мутной пеной, которую никто и не подумал снять. За супом последовала вареная говядина из того же котла, а к ней — горчица в треснувшем горшочке, серый хлеб с толстой коркой и вино, разбавленное до цвета зари. Аббат прочитал благодарственную молитву, сержант — вынес приговор здешней кухне, и оба оказались по своему правы.

Я съела все. В той жизни, о которой мне нельзя было думать, я бы непременно написала об этом обеде что-нибудь язвительное. В этой же — лишь отметила про себя, что хлеб здесь пекут из плохо просеянной муки, но на хорошей закваске; что говядину вываривали долго, горчица вполне недурна, а на всю харчевню работают, кажется, от силы две женщины на сорок голодных ртов.

После Арпажона дорога поднялась из долины, и по сторонам раскинулась Бос — хлебная равнина, ровная как стол до самого края горизонта. Пшеница стояла стеной, еще зеленая, но уже выметавшая колос; ветер гулял по ней, точно по глади воды. Ни лесов, ни рек вокруг — лишь ветряные мельницы да колокольни, по которым в этих краях отмеряют расстояния.

Суконщик, перехватив мой взгляд, с гордостью заметил, что мадемуазель видит перед собой житницу всего королевства: вся эта земля до самого Орлеана — один сплошной хлеб, и в урожайный год обозы с босским зерном идут через городские рынки день и ночь.

Я смотрела на эту равнину, кормившую Париж. Она действительно была красива, но однообразной красотой, от которой неизбежно клонит в сон. Вскоре попутчики один за другим задремали. Младенец у кормилицы почмокал и затих. И под мерный скрип колес мое сознание само соскользнуло в воспоминание о том дне, когда я здесь очнулась...

К пологу в мелкий букет, к липкой горечи во рту, к отражению в зеркале, где на меня смотрели чужие, распухшие от слез глаза. Как я ходила по комнатам кругами, трогала вещи и отдергивала руку. И как подолгу стояла у окон, за которыми был незнакомый город: вывески на кронштейнах, портшезы, водоносы с ведрами, дама с высокой прической, осторожно переступающая лужу, мальчишка с газетами, выкрикивающий новости, из которых я понимала каждое слово и не могла понять ни одного. Я стояла у окна часами. Отходила. Возвращалась проверить — вдруг за стеклом все стало обратно правильным. Увы, не становилось.

Луиза — я тогда еще не знала, что она Луиза, — носила мне бульон, теплое вино с корицей, нюхательные соли; плакала в прихожей, думая, что я не слышу; шепотом говорила с привратницей про доктора и про то, что мадам совсем плоха с тех пор, как... Слов я тогда не разбирала.

На третье утро она вошла, встала в дверях, комкая передник, и виновато, но с неожиданной твердостью заговорила:

— Мадам, простите меня... но срок истекает. Господин граф ждет ответа к четвергу. Мадам сама изволила согласиться... Господин граф столько раз являл доброту, но ведь и его доброте есть предел, а нам за квартиру платить будет нечем.

И на этой фразе — «граф столько раз являл доброту» — воспоминания вдовы Фанетты Гранье, будто кем-то бережно сдерживаемые до сих пор, хлынули сплошным потоком.

Помост и рев толпы, который память милосердно смазала. Опись имущества: чиновник слюнявил палец, переворачивая листы, и все допытывался, где второй канделябр. Красный сургуч на дверях — Луиза потом отковыривала его ногтями. А родня обошлась без слов вовсе: ни упреков, ни объяснений — вдове просто перестали открывать.

Потом появился надушенный, немолодой граф, с привычкой брать руку Фанетты двумя пальцами — как берут вещь с прилавка, о цене которой уже условились. Предложение прозвучало тут же, между соболезнаванием и прощанием, и составлено было так гладко, что оскорбиться оказалось не за что: не покупка — покровительство, не содержание — участие. Она кивнула, не дослушав, глядя мимо него в окно.

И последний вечер ее жизни, из которого я помнила только главное: зеленую склянку и то, что наутро из этой постели поднялась уже я.

Голова раскалывалась так, что темнело в глазах. Я просидела до самого полудня, вжав пальцы в виски и пережидая этот шторм. А когда он прошел, и чужая жизнь улеглась во мне, став собственной, я обнаружила, что стою посреди спальни и решение уже принято: в содержанки я не пойду, а из Парижа нужно немедленно бежать...

— Этамп! Почтовая станция! — зычный крик кучера снаружи и хриплое откашливание аббата мгновенно выдернули меня из прошлого.

— Ну, слава господу, добрались! — запричитала старуха в трауре, подбирая свои корзинки и задевая меня локтем. — Проходите же, мадемуазель, не стойте в дверях, дайте людям выйти!

Ночевали в Этампе, пройдя за день семнадцать лье.

Городок стоял на реке, вернее — на пучке речек, разобранных на мельничные лотки. Вода шумела здесь повсюду: под мостиками, за заборами, а над ней висел теплый, сытный, отрубной дух — Этамп молол босское зерно и жил этим помолом. Постоялый двор «Три короля» у почтовой станции принял наш дилижанс привычно: двор осветился фонарями, забежали конюхи, а служанки понесли в залу приборы.

Ужин против арпажонского обеда оказался неожиданно хорош, и я поняла, почему кучер так гнал лошадей. Похлебка на сей раз была густая, луковая, на подрумяненной муке, под плотной шапкой тертого сыра. Ели ее молча, что у едоков всех времен означает высшую похвалу. За ней подали угря, тушенного в красном вине с черносливом — *матлот*, как заметил суконщик, здешние речки им богаты. Угорь был жирен, вина на соус не пожалели, и я ела, разбирая его на составляющие, словно письмо по слогам: лук, сало, тимьян, зачем-то гвоздика — лишняя, но простительная. Хлеб в Этампе подали белее арпажонского, из лучшей муки: город мельников держал марку.

Спали вчетвером в комнате на двух кроватях: я с суконщицей, старуха в трауре — с кормилицей, а младенец — в дорожной корзине между нами. Простыни были влажноваты, из-под обоев несло мышами, а дверь запиралась на хлипкий крючок, годный разве что против сквозняка. Я снова легла, не раздеваясь, спиной к суконщице, с мешочком под сорочкой. Суконщица, укладываясь рядом, вздохнула, что нынче хоть спокойно, а вот в прошлом году под Тури пошаливали — остановили дилижанс среди бела дня... Я слушала ее вполуха и засыпала под несмолкаемый шум мельничной воды за окном.

Второй день пути тянулся короче и нетерпеливее. В Тури сменили лошадей, в Артене — снова, и с артенейского пригорка, прямо от ветряка, кучер указал кнутом на юг: мол, прибываем. Там, на самом горизонте, в мутной синеве уже угадывалась гряда — долина Луары.

К Орлеану подъезжали в сумерках. Дорога пошла вниз, равнина кончилась, и потянулось предместье Баннье — сады, огороды, трактиры для возчиков, обозы, вставшие на ночлег вдоль обочин: телеги с зерном, с бочками, с сеном — целый караван, ждущий открытия утренних ворот. Пахнуло дымом, навозом, а потом — сквозь этот дым — рекой: большой водой, мокрым песком и смоленным деревом.

Городская стена выросла из сумерек серо и буднично. В воротах тускло покачивался фонарь; стражник с алебардой считал въезжающих без всякого интереса. Над крышами, чернея на догорающем небе, застыли две недостроенные башни собора в паутине лесов — их строили, как заметил суконщик, уже сто лет и будут строить еще столько же.

Улица за воротами оказалась тесной, кривой и полной вечерней жизни: закрывались лавки, гремели ставни, где-то пели, из харчевни тянуло жареным салом... Но над всем этим стоял еще один повсеместный, кислый и винно-живой запах уксуса.

Дилижанс остановился во дворе конторы у Баннье. Пассажиры выбирались наружу, разминая затекшие спины; суконщик подавал жене руку; кормилица баюкала раскричавшегося младенца. Конюх сбросил с крыши мой сундук.

Я стояла возле него в чужом воскресном платье, в чужом городе, в чужом теле — с четырьмя сотнями ливров, зашитыми в подол, — и смотрела, как в домах один за другим зажигаются окна.

— Мадемуазель кто-нибудь встречает? — спросила суконщица участливо.

— Нет, — ответила я. — Меня здесь никто не ждет.

Глава 2

— Комната наверху: два окна, камин, кровать — двадцать пять су в день, — объявила хозяйка, поднимаясь передо мной по скрипучей лестнице со свечой в руке. — Со столом и свечами — сорок. Помесячно уступлю за тридцать, но беру вперед, такой у меня порядок, уж не взыщите.

— Без стола, — сказала я. — И не на месяц. За неделю вперед — двадцать.

Хозяйка обернулась на ступеньке и оглядела меня заново, уже как следует: синее шерстяное платье, приличный плащ, один сундук, но добротный, и говор не здешний.

— Двадцать два, — уступила она, — и вода для умывания моя. А стирка и стол, как пожелаете. Внизу кормлю в полдень и в семь часов вечера.

На том и сошлись. Постоялый двор звался «Три дофина» и стоял на улице Баннье, в пяти минутах от ворот, через которые я вчера въехала. Хозяйку звали мадам Гоше; была она вдова, широкая в кости, в меру любопытная и держала дом в чистоте: на лестнице пахло воском и луковым соусом, а не мышами, и за одно это я готова была простить ей два лишних су.

Комната оказалась вполне приличной: кровать с пологом, стол, стул, кувшин, над очагом распятие, за окном черепичные скаты да труба соседней пекарни. Я заперла дверь на ключ, села на край постели и достала кошелек с остатками дорожных денег.

Из Парижа я выехала с четырьмя сотнями и двадцатью ливрами. Дорога, ночлеги, обеды и носильщики съели без малого сорок. Оставалось триста восемьдесят с мелочью. На эти деньги у мадам Гоше со столом можно было прожить месяцев семь, а без стола и экономя все десять.

В сундуке, конечно, еще лежали жемчуг, серьги, кольца, часы, меха, кружево и два лионских платья. Но это был неприкосновенный запас, который перестает быть запасом в тот день, когда начинаешь его проедать.

Еще раз оглядев комнату, я поднялась и направилась к двери. На ходу мне всегда лучше думалось, да и осмотреться не мешало бы.

Город для прогулок был хорош. От ворот Баннье улица вела прямо к площади Мартруа — просторной, мощеной, с шумными хлебными рядами по утрам. От площади к реке спускалась улица Руаяль, новенькая и прямая как стрела, с аркадами по обеим сторонам: ее прорубили сквозь старые кварталы совсем недавно, вместе с новым мостом, и Орлеан явно ей гордился. Под аркадами сидели торговцы дорогим товаром — шелк, фарфор, книги, часы; по мостовой катили кареты; и вся эта роскошь упиралась в мост через Луару — девять каменных арок, светлых, еще не успевших потемнеть от времени.

Вправо и влево от этой парадной оси начинался настоящий Орлеан: улица Бургонь, старая, кривая и длинная, точно весь предыдущий век. Дома с темными балками, нависающие верхними этажами, лавки суконщиков и чулочников, трактиры, часовни, и над всем этим — собор в строительных лесах. Две его недостроенные башни застыли в паутине из бревен, по которой ползали крошечные фигурки каменщиков.

И никакой въедливой гари, химического смога или ядовитого чада, к которым я привыкла в своей прошлой жизни. Здесь к речному и укусному запахам, за каждым углом добавлялись новые: у Мартруа — теплым хлебом, за улицей Бургонь — суслом и сырым винным погребом, ближе к восточным кварталам — сладкой гарью жженого тростникового сахара, подплывавшего по реке из Нанта, и в иных переулках воздух стоял как над забытой на огне карамелью. Город кормился рекой и пах всем, чем торговал.

Я шла, смотрела, впитывала и перебирала свои возможности, точно крупу.

Считать я умела — быстро, чисто, с проверкой: в прошлой жизни цифры были частью моей работы. Но женщин не берут в конторы. Ни негоцианту, ни откупщику, ни в магистрат

счетчица не нужна — нужен счетчик и точка. Самое большее, что позволялось женщине с головой на плечах, — торговать самой, а для этого нужны патент, место в рядах и годы репутации. Писала я тоже прилично, но писарем женщину не возьмут и подавно. Гувернанткой? Без рекомендаций, без имени, в чужой дом, где сначала спросят, кто я и откуда, а потом все равно докопаются до правды? Швеей смешно: моих познаний хватало лишь на то, чтобы зашить луидор в подол. Прачкой, судомойкой — мягкие руки Фанетты выдали бы меня раньше, чем язык. Кухаркой в богатый дом...

Вот тут я замедлила шаг. Готовить я любила и, по словам близких, умела. Но кухарку нанимают по рекомендации, как жену берут с приданым; без бумаги от прежних хозяев меня не пустили бы дальше черного крыльца. Да и призналась я себе, застыв под аркадой и глядя, как приказчик раскладывает на лотке севрские чашки, я просто не хотела идти в услужение.

Оставалось одно, это открыть свое дело. А для своего дела — хоть пирожки печь, хоть белье крахмалить — нужен свой угол. Аренда съедает выручку и оставляет тебя вечной гостьей; дом — это дно, от которого можно оттолкнуться.

Эти мысли меня так захватили, что я и не заметила, как зашагала быстрее, пока настойчивое урчание в желудке не напомнило, что ела я последний раз, ужиная в дороге.

Обедала я на улице Бургонь — за общим столом у местного трактирщика, в компании приказчиков и двух каноников. Обед оказался лучше арпажонского, но скучнее этампского: суп с капустой и салом, разваренная говядина с корнишонами да здешнее красное вино — легкое и чуть кисловатое. На сладкое подали печеные груши в вине, и я отметила себе, что сахар здесь не жалеют: город сахароварен мог это себе позволить.

На обратном пути, когда уже сгущались сумерки, на улице Руаяль мне попалось на глаза объявление, приклеенное у ворот красивого нового дома с балконом: *«Продается дом со службами, обращаться к привратнику»*.

Привратник — сухопарый старик в сдвинутом набок парике — окинул мой наряд равнодушным взором и спросил, не оглядываясь:

— Вам кого, мадемуазель?

— Я по объявлению, — сказала я. — Сколько просят за дом?

— Двенадцать тысяч ливров, — ответил он с ленивой скукой и сплюнул под ноги. — И господин хозяин не торгуется.

— Понимаю. Спасибо. — Натянуто улыбнувшись, я пошла прочь, чувствуя, как щеки горят, словно от пощечины. Двенадцать тысяч... Тридцать таких капиталов, как мой.

Вернулась в «Три дофина» я уже в глубоких сумерках, как раз к ужину. За общим столом было шумно. Рядом со мной опустился проезжий торговец скотом в засаленном камзоле и въедливого вида господин с чернильными пятнами на пальцах — судейский писец, судя по выправке.

— Что, мадемуазель, не из здешних? — спросил торговец, едва служанка грохнула перед ним миску с фасолью. — Лицо незнакомое, а плащ парижского покроя. Нынче из столицы все больше с оглядкой едут. Как там, спокойно?

— Спокойно, — ответила я, зачерпывая суп. — Дороги открыты. А вы давно в Орлеане?

— Третий год сюда наезжаю, — хмыкнул он. — Город сытый, да чужих принимает неохотно. Если нет связей или покровителя — останется только на воду смотреть.

— И на цены, — подал голос писец, не поднимая глаз от своей тарелки. — Цены разорительные. В центре жить — останешься без гроша в кармане, а на окраинах у Сантерра, дышать нечем от сажи. Вы, мадемуазель, по делу сюда или к родне?

— Осматриваюсь, — коротко отрезала я, чтобы не пускаться в расспросы, и перевела разговор на погоду и урожай.

Ужин тянулся еще полчаса, но ничего стоящего я больше не услышала: обычные разговоры о ценах на овес, налогах да разливе Луары. Сама стряпня оказалась так щедро сдобрена

черным перцем и гвоздикой, что у меня до сих пор щипало язык — здешний повар явно не жалел пряностей, заглушая ими сомнительную свежесть тушеной баранины. Расплатившись и отдав служанке мелкую монету, я поднялась к себе и закрыла дверь на хлипкий крючок.

Вымыла лицо и руки холодной водой из кувшина, с наслаждением расшнуровала корсет, вытащила из волос шпильки и расчесала гребнем спутанные пряди. В темноте комнаты, освещаемой лишь лунным светом сквозь черепичные скаты, я легла в постель. Спала без снов — усталость дороги и стыд от разговора с привратником забрали последние силы.

А утром, едва рассвело, я спустилась на улицу, даже не дождавшись завтрака. И у первого же мальчишки купила газету.

Газета называлась «Афиши Орлеанэ», выходила по пятницам и вмещала в себя на четырех листках скверной печати про весь здешний мир: цены на зерно и вино, прибытие барок, постановление интендантства о дорожной повинности, стихи некоего аббата к свадьбе, объявление о пропавшей болонке испанской породы и два столбца, ради которых я и отдала свои монеты: «Продажа недвижимого имущества» и «Предложения услуг».

Столбец услуг я прочла первым. Требовались: кормилица в почтенный дом, лакей рослый и с рекомендациями, подмастерье к цирюльнику да экономка к одинокому канонику — *«женщина в летах, набожная, с отзывами от духовных особ»*. Во всем этом мире я не подходила ни под одну строчку, разве что под объявление о пропавшей болонке.

Столбец продаж был интереснее. Комнаты и половины домов я отмела сразу, не читая условий: полдома означает соседей, а соседи означают глаза, уши и вопросы. Целых домов в моих пределах значилось три, и после полудня я отправилась по адресам.

Первый дом стоял на улице Бургонь, и в объявлении он назывался «удобным». Показывала его сама хозяйка — вдова стряпчего в трауре такой давности, что черная шерсть успела порыжеть. Она поднималась по лестнице передо мной со свечой, хотя на улице стоял ясный полдень, и это сказало мне о доме больше любого описания.

— До собора два шага, мадемуазель, — подала она голос, заслоняя огонек ладонью. — По утрам слышно, как каноники поют обедню. А каков благовест на Пасху...

— А солнце сюда заглядывает?

— Солнце? — вдова задумчиво нахмурилась, будто я спросила о дальнем родственнике, от которого давно нет вестей. — На Святого Иоанна бывает. Под вечер, если встать у левого окна.

Все остальное тонуло в тени. Улица в этом месте сужалась так, что верхние этажи почти смыкались, окна выходили в глухую стену напротив, а двор оказался каменным колодцем два на три шага, где даже в полдень царил серый сумрак. Из погреба тянуло такой застарелой сыростью, что я не стала и спускаться.

— Стены дышат, — заверила вдова, перехватив мой взгляд на темные потеки у пола.

Дышали они, судя по запаху, давно. И за это унылое жилище просили четыре с половиной тысячи. Я откланялась на второй минуте.

Второй адрес был за южными воротами, на левом берегу, и дом стоил тысячу восемьсот ливров — цена, от которой у меня впервые появилась надежда: почти по средствам. Я перешла мост пешком; ветер с реки трепал косынку, внизу тянули бечевой тяжелую барку, и я загляделась так, что чуть не попала под колеса водовоза. Разгадка столь низкой цены ждала меня за воротами вместе с ветром: он потянул с востока, и я все поняла раньше, чем увидела красильни и кожевенные мастерские. Там мыли, дубили и красили кожи; вода в протоке шла бурозеленая, а воздух стоял плотный и невыносимо едкий.

Хозяин, кожевник с руками цвета дубовой коры, провел меня по комнатам без вдовьих речей про колокола.

— К запаху привыкают за месяц, мадемуазель, — сказал он, заметив, как я стараюсь дышать через раз. — Жена моя его и вовсе не замечает. Зато вода под боком и глина под ногами даровая.

— А готовить? Тесто ведь впитывает запахи, да и молоко.

— Чего? — не понял он.

— Ничего, — ответила я. — Спасибо, мэтр. Я подумаю.

Думать тут было не о чем: жить в таком месте тяжело, а готовить на продажу и подавно.

На третий день, до встречи с поверенным, я выбралась к рынку. Третий адрес находился неподалеку от Шатле, и торги начинались сразу за углом. Отчасти это требовалось для дела, отчасти же мне просто нужно было отвлечься от листов с объявлениями.

Рынок ошеломлял какофонией звуков еще на подходе. Первое, к чему пришлось привыкать, — еда здесь была живой. Птица не лежала на прилавках: она кудахтала со связанными лапами, билась в корзинах, рыба плавала в чанах с водой. Покупатели бережно подхватывали кур и дули им под перо, проверяя жир с тем же знанием дела, с каким в моем прошлом изучают состав на упаковке.

Молочница наливала молоко из высоких кувшинов и на вопрос «утреннее?» оскорбилась: «Только из-под коровы, отпейте сами». Пили тут же, из общей кружки, переходившей из рук в руки, — я мысленно перекрестилась и сделала глоток: молоко оказалось густым, теплым, с запахом луговых трав.

Масло я выбирала носом: из трех желтых пластов под влажным полотном сливками пах только один, у крайней торговки, его я и купила. Ее соседка проверяла яйца на солнце, поднимая каждое к небу, и за такую проверку, можно брать не глядя.

С мукой вышло дольше. Я растерла щепотку между пальцами, потом другую, из соседнего мешка, потом третью, и мучник начал коситься. Мука была свежая, но серая: отрубей едва ли не на треть.

У торговца колониальным товаром на полке высились сахарные головы в синей бумаге и стоили столько, что щипцы к ним следовало выдавать вместе с нюхательными солями. Рядом стояли горшки с медом, вдвое дешевле, и решение было принято само собой. За солью пришлось идти в особую лавку с решеткой на окне, и ждать, пока ремесленник передо мной расстанется с монетами: «...грабеж... среди бела дня... на том свете им эта габель зачтется...» Соль отвешивали, как аптечное снадобье и я, взяв две унции, вышла с ощущением, что совершила не покупку, а расточительство.

А вот кого на рынке не нашлось, так это привычных продуктов из прошлой жизни. Ни картофеля — вернее, один горшок с ботвой стоял у аптекаря среди диковинных трав, как заморская редкость. Ни томатов: на юге их уже знали, а на севере все еще опасались. Я поглядела на аптекарский горшок с легкой тоской и пошла дальше.

Зато июнь брал свое: на углу продавали землянику — мелкую, темную, бережно уложенную на свежие капустные листья. Пахла она так, что покупатели выстраивались в очередь. Я взяла кулек на один су, добавила стакан черешни и с полной корзиной — мука, яйца, кувшин молока, масло, мед и соль — отправилась наконец к поверенному, чувствуя себя настоящей орлеанкой.

Нотариус принял меня в конторе, заваленной делами по самые подоконники. Он выслушал меня благожелательно, но развел руками раньше, чем я закончила:

— Дом хорош, мадемуазель, спорить не стану. Но торг невозможен.

— Почему же? Три тысячи — цена непомерная.

— Эта цена — плод семейной вражды, — вздохнул он. — Наследников трое. Старший согласен на три тысячи, младший требует три с половиной, а средний вообще против продажи из упрямства и назло старшему. Пока они не помирятся или, упокой их господь, не уменьшатся числом, я не вправе уступить ни су.

— И давно они тянут?

— Четвертый год, — ответил нотариус с тихой гордостью, точно речь шла о затяжной войне.

Я вышла от него с пониманием нравов местных наследников и с неприятным чувством, что хожу по кругу.

Тем же вечером, чтобы день не пропал даром, я отнесла к торговке подержанным платьем — ее лавку на улице Бургонь мне указала мадам Гоше — сверток с алансонским кружевом и одно из двух лионских платьев. Торговка, старуха с глазом опытного оценщика, перебрала кружево и посмотрела шелк на свет.

— Пятьдесят ливров за все, — вымолвила она, не моргнув.

Я молча начала сворачивать ткань обратно.

— Ну-ну, не горячитесь, — старуха придержала сверток костлявой рукой. — Восемьдесят.

— Триста. Это алансон, а не дешевое плетение из деревни.

— Пресвятая Дева, да вы меня по миру пустите... Сто двадцать, и то из почтения к вашей нужде.

Через полчаса торга мы сошлись на двухстах шестидесяти ливрах. Платье это обошлось покойному Ансельму Гранье втрое дороже одной только работы, но покойнику было уже все равно, а мне двести шестидесять ливров требовались звонкой монетой. По дороге домой я зашла еще к ювелиру под аркадами — не продавать, а только прицениться — и узнала, что за золотые часы с эмалевыми незабудками дадут сто семьдесят, «если ход исправен, мадемуазель». Ход был исправен. Я ответила, что подумаю.

Итого к вечеру третьего дня у меня имелось шестьсот с лишним ливров, стоптанные башмаки и не одного пригодного дома.

В «Три дофина» я вернулась в том расположении духа, в котором в моей прошлой жизни заказывают торт целиком и едят его ложкой из коробки. Здесь коробки с тортами не водились. Зато в моей корзинке лежали мука, яйца, молоко и мед, а внизу, за обеденной залой, топилась хозяйская кухня.

— Мадам Гоше, — сказала я, поймав хозяйку у лестницы, — а пустите меня вечером к очагу? За дрова заплачу.

— К очагу... А готовить-то что будете?

— Блины.

— На Сретенье-то? — она усмехнулась. — До Сретенья полгода в обе стороны.

Я на секунду замешкалась, но память Фанетты тут же подбросила воспоминание: детство, шумная кухня, куда девочки-аристократки сбегали от гувернанток, и старая кухарка, сунувшая маленькой графине в кулачок серебряный экю, чтобы блин перевернулся «на счастье».

— А у меня без праздника, — ответила я. — Для настроения.

— Ну, раз так, то два су за угли, и золу за собой выгрести, — рассудила мадам Гоше и, уже спускаясь, добавила через плечо: — Только сковороду не испортите, она у меня еще от матери осталась.

Кухня у нее была небольшая: широкий очаг с крюками, полка с медной посудой да выскобленный добела стол. У таза суежилась девчонка-судомойка, домывавшая котел после ужина. Я выбрала на полке сковороду с низким бортом и длинной ручкой, и первым делом отчистила ее золой до розового блеска. Девчонка следила за мной, приоткрыв рот: гостя в приличном платье драила медь и, кажется, делала это с удовольствием.

Настала очередь теста, и вот тут местная жизнь заставила меня приспособливаться на каждом шагу. Муку я просеяла дважды — сито у мадам Гоше нашлось волосяное, мелкое, и после второго прохода мука посветлела на полтона, а на холстине остался серый холмик отрубей. Три яйца я разбила о край миски и взболтала мутовкой, пучком гладких прутьев:

венчиков не водилось, но рука быстро вспомнила, что прутья справляются не хуже. Молоко я влила теплым, сняв с него ложкой сливки в отдельную плошку: пригодятся. Щепоть казенной соли, на вес золота. Ложка меда — сахарной голове я помахала рукой еще в лавке. И под конец — две ложки растопленного масла прямо в тесто, верное средство для любого, кому приходится печь на чужой сковороде.

Тесто я развела до плотности жидких сливок и оставила отдыхать, накрыв холстиной: клейковине нужно время, а углям дозреть. Я разгребла жар ровным слоем, без пламени, и проверила тепло ладонью.

Сало на вилке — вот и вся смазка: провести шкуркой по горячей меди, чтобы зашипело и заблестело. Полковша теста, быстрый наклон по кругу и первый блин у меня, разумеется, вышел комом. Я посмотрела на этот ком с умилением: у жизни, что ни говори, везде свои законы.

Со второго блина дело пошло. Полковша — наклон — тонкая пленка теста схватывается по краю кружевом — подцепить ножом, перекинуть быстрым броском. На третьем блине судомойка уронила ложку в котел. На пятом за моей спиной обнаружилась мадам Гоше, пришедшая проверить, не спалила ли я ее приданое, да так и оставшаяся стоять. К десятому в кухню спустился судейский писец — с пером за ухом, притворяясь, что искал чернильницу.

Стопка росла. Каждый блин я смазывала кусочком масла, наколотым на нож. Верхний я полила медом — он пошел по горячим блинам янтарными струйками — и выложила по краю блюда землянику.

— Садитесь, — сказала я.

Ели молча, а я уже знала, что здесь это высшая похвала. Судомойка держала свой блин двумя руками и слизывала мед с пальцев. Писец забыл про чернильницу. Мадам Гоше съела три, вытерла губы кончиком фартука и смерила меня долгим, прищуренным взглядом.

— Блины и мы печем, — произнесла она наконец, разглядывая край блина. — Но чтоб тоньше кружева и не рвались... В чем тут секрет-то?

— Никакого секрета, — ответила я. — Терпение. И тесту надо дать отстояться. Оно как человек: с дороги не работник.

— Смотри-ка... — Мадам Гоше качнула головой и протянула руку за четвертым. — А ведь верно.

Я ничего не ответила. Разлив остатки молока по кружкам, я присела на край скамьи и быстро придвинула к себе тарелку. Судя по тому, с какой скоростью писец расправлялся со своей порцией и какими глазами косился на блюдо, у меня имелся вполне реальный риск остаться голодной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.